

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЗА СВЯТЫНИ ОТЕЧЕСТВА

К 80-летию Юрия СЕЛЕЗНЁВА

Когда Юрия Ивановича Селезнёва провожали в последний путь, было сказано много горьких, покаянных, высоких слов о нём как человеке и писателе, о его драматичной судьбе литератора и редактора, но самой запоминающейся стала фраза Вадима Валериановича Кожинова: “Есть люди, о которых говорят, что на них земля держится. Юрий относился именно к таким людям. И сейчас, после его ухода, у меня есть ощущение, что земля пошатнулась”.

Справедливость этих слов становится всё более очевидной по истечении десятилетий, когда многожды раз в кругу друзей и единомышленников повторялось одно: “Как же его сейчас не хватает!” И, действительно, в тот или иной роковой эпизод нашей истории конца XX века не оставляло ощущение, что не хватает его прямого взгляда, его точного, объёмного и страстного слова, его пристальной и пронизательной оценки того или иного явления в литературе и жизни. Он умел схватить самую суть происходящего, дать необходимый и верный в своей убедительности анализ вроде бы не очень значительного внешне, но имеющего реально насущный смысл того или иного события. И многие его современники, в первую очередь, вспоминали именно это его свойство, говоря о необходимости Селезнёва в нашей жизни.

“Я бы сказал, что у него было своеобразное, скульптурное мышление. То есть не одномерное, не плоскостное, а всеохватывающее, что позволяло ему представить явление во всей его целостности, идя при этом от главного. Отсюда его постоянные обращения к проблеме народности, к теме патриотизма, долга и совести” (Валерий Ганичев).

“Что бы он ни делал в эти годы – слушал, читал, писал, вёл беседу, да же попросту общался с людьми, – во всё он вкладывал прямо-таки исключительную духовную энергию. Это было непрерывное горение, непрерывная и полная самоотдача” (Вадим Кожинов).

“...Разнообразные интересы объединялись... в высшей степени присущим Юрию Ивановичу Селезнёву обострённым чувством национального в культуре. По его убеждению, глубинное, подлинно национальное, выражающее исторический опыт и дух народов – основной критерий причастности к общечеловеческим ценностям, к мировой культуре... Отсюда, наверное, очень искреннее и как-то особо подчёркнутое его уважение к каждому большому и малому народу, самобытно живущему на своей земле, говорящему на своём языке и творящему свою культуру – вклад в мировую духовную сокровищницу... Он ощущал себя и был на самом деле доблестным воином в сра-

жениях за духовные и культурные ценности своего народа, за святыни Отечества...” (Валерий Сергеев).

“Он становился возвышен, когда говорил о русской классике. Я не знаю среди его оппонентов и единомышленников человека, который мог бы с ним соперничать в этом самозабвении, в этой способности подчинить себя великому духу, воплощённому в творениях наших гениев, с любовью (то есть совершенно) раствориться в нём, понимая, что только так, только отказываясь от самого себя, и можно стать самим собой” (Евгений Лебедев).

“Чувствовалось... что для него главное – в возможности работать: не важно, где, в каких условиях, но работать над тем, что тебе действительно дорого. Продвигаться шаг за шагом к намеченной цели, иступлённо трудиться (а трудиться и именно иступлённо, самозабвенно он умел), не обращая ни на что внимания, на высоте, где захватывает дух, – без спасательного пояса и каски” (Олег Михайлов).

“Для него литература – не механическая сумма писателей и национальных достояний, но их непрекращающееся взаимодействие, в котором нет деления на живых и мёртвых. Так и в русской литературе видит он дело соборное, все голоса для него сливаются в одно стройное звучание... Я немного видел в жизни людей, которые бы всем своим существом так устремлялись – без насилия над собой, легко и радостно – к идеалу человека” (Юрий Лошиц).

* * *

Юрий Селезнёв родился 15 ноября 1939 года в Краснодаре. В детстве пережил немецкую оккупацию. После армии окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института.

Сухие биографические факты не в состоянии, естественно, передать того постоянного духовного взросления, которое сопровождало Юрия Ивановича на протяжении всей его короткой жизни. Время Краснодарского педагогического института и Кубанского сельхозинститута, где он преподавал русский язык иностранным студентам, было временем запойного чтения русской и мировой классики, временем пристального изучения творчества Фёдора Михайловича Достоевского, будущего главного героя селезнёвских “штурдид”. За считанные годы он перерос провинциальную литературную среду и рвался в столицу. В 1970 году переступил порог дома Вадима Валериановича Кожина.

“Зазвонил телефон, – вспоминал Кожин. – Незнакомый певучий голос... заговорил о моих книгах и статьях, о надежде на встречу... В его лице и даже в самом его стане ясно выражались несгибаемая душевная крепость и чистота... Быстро удалось ввести его в тот характерный русский разговор – внешне хаотичный, неожиданно перескакивающий с одного на другое, – который всё же захватывает вдруг самое важное и глубокое. Стало очевидно, что Юрий Селезнёв жаждет большого, настоящего дела на ниве русской культуры – дела, для которого тогда, полтора с лишним десятилетия назад, в его родном крае не было необходимых условий...”

С этого разговора и начался постепенный вход Селезнёва в московскую литературную жизнь. В 1971 году он стал аспирантом Литературного института и начал работать над диссертацией “Поэтика пространства и времени романов Достоевского”. Готовую работу он защищал уже в Институте мировой литературы. И в 1975 году состоялся его подлинный литературный дебют – публикация в журнале “Молодая гвардия” статьи о школьных букварях и книгах “Родная речь” – “Словом всё делается”.

Статья, по сути, была страшной. В ней со вполне спокойной интонацией, но с нарастающим внутренним напряжением рассказывалось о том, как уродуется художественный вкус маленьких читателей в самом начале его становления. Причём уродуется в учебных изданиях, рекомендованных министерством образования.

Этой статьёй, как и предыдущей, – “Зачем жеребёнку колесики”, посвящённой детской литературе, – Селезнёв разворошил осиное гнездо. Много позже мне в руки попала машинописная стенограмма заседания представительской секции детской литературы, состоявшегося тогда в Ленинграде. С кем только не сравнивали тогда ещё молодого критика... Статью сравнивали –

ни больше, ни меньше — с докладом Жданова “О журналах “Звезда” и “Ленинград”...

Последствия, впрочем, были диаметрально противоположны последствиям ждановского доклада. Были приняты соответствующие организационные меры.

“За публикацию моей статьи и ещё одного парня из Ленинграда в сборнике “О литературе для детей”... сняли первого директора издательства ленинградского отделения “Детской литературы” (акция эта была осуществлена при непосредственном участии Галины Брежневой. — С. К.) — случай в последние годы уникальный и настораживающий, — писал Селезнёв Александру Федорченко, — не помогло даже заступничество его родного брата — Б. Стукалина, председателя Госкомиздата СССР, то есть, по существу, министра печати...”

И вся его дальнейшая литературная жизнь проходила в атмосфере боя на литературной ниве — за душу человеческую, за совесть человеческую, за русскую гармонию. Главным полем битвы в 1970-е годы стала русская классика.

Статьи критика о Гоголе, Тютчеве, Тургеневе, Чехове не просто вскрывали потаенные смыслы их произведений. Классические творения рассматривались в контексте единого, непрерывного потока, несущего благотворную духовную влагу со времён “Слова о законе и Благодати” и вплоть до наших дней. Они рассматривались в русле народного мироотношения: “Дело не в том, сколько представителей народа стало героем того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными делами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев”.

“На судьбу мне жаловаться нечего, — писал он Александру Федорченко в 1975 году. — Я ведь, по существу, делаю первые шаги, но уже награждён судьбой. Мне довелось уже услышать добрые слова (правда, не лично) от Шолохова и Леонова, а лично (и не просто добрые, а прямо-таки высокие) от Белова, Астафьева, Потанина, Кожинова и других. А всё это люди серьёзные и слов на ветер не бросают. Всё это мне очень дорого и заставляет собираться и “дерзать”...”

В этом “дерзать” ощутим ироничный оттенок. Но тем не менее всю творческую жизнь Юрия Селезнева вполне естественно оценить словом “дерзание”.

После кратковременной работы в отделе критики журнала “Знамя” и в отделе прозы журнала “Молодая гвардия” он пришёл на работу в серию “Жизнь замечательных людей”, с которой был связан несколько последующих лет. В том же году вышла его книга “Вечное движение”, где были даны настолько яркие и запоминающиеся портреты Астафьева, Белова, Лихоносова, Носова, Шукшина, Потанина, Василя Быкова (ещё не “классиков” в сознании читающего населения, но уже классиков по сути), что Селезнёву была присуждена за неё премия Ленинского комсомола — не отметить эту книгу как наиболее выдающуюся из числа тогдашней “молодой литературной критики” не представлялось возможным. И этот же год во многом стал для него рубежным, ибо в журнале “Москва” была опубликована его новая, необычная даже для него по остроте статья “Мифы и истины”.

Полемистом Юрий Селезнёв был отменным. Он никогда не клеил “ярлыков”, не занудствовал “академически”, не бранился, не язвил и не юлил. Позиция его была отчётливой и бескомпромиссной, а система ценностей очевидной для читателя. Он приглашал оппонента к разговору спокойному, уважительному и даже, если будет позволено так выразиться, нежному. Рассматривая тезисы своего противника с разных сторон, он так умел осветить их, рассмотреть под таким оригинальным углом зрения, что дополнительных “уничжающих определений” не требовалось. Деятель, отплясывающий чечётку на ниве русской классики или творчества особо ценимых Селезнёвым Белова, Распутина и Лихоносова, был обречён. Он представал в виде совершенно обнажённом — Юрий Иванович как бы одной фразой, одним движением лишал его всей словесной драпировки. И перед нашими глазами представал замшелый мастодонт, плохо разбирающийся даже в тех цитатах из классиков марксизма-ленинизма, с помощью которых он расстреливал всё не угодное ему лично, то закоренелый русофоб, гримирующийся под “свободную личность” с диссидентским душком.

Но статья “Мифы и истины” выделяется из общего ряда селезнёвских полемических сочинений. Слишком серьёзен был повод, слишком нетривиален был сам предмет критики. И слишком небезобиден подтекст появления на белый свет книги Олжаса Сулейменова “Аз и Я”, чтобы можно было вести разговор о ней в доброжелательно-ироничной интонации.

Юрию Селезнёву предложили написать об этой книге, сопроводив заказ буквально следующими словами: “Победишь – прекрасно, а проиграешь – тебя выбросят из Москвы и более ты нигде и никогда не сможешь печататься”. По сути, это был вызов. И Селезнёв его принял.

Не в первый раз уже ему приходилось выходить в открытое поле и принимать удар на себя. Порой создаётся впечатление, что его словно испытывали на прочность, о чём он ещё в 1972 году писал Владиславу Попову: “... Не можешь ли ты достать мне адрес... Виктора Лихоносова?... В журнале “Москва” мне дали “для проверки” работу – статью о его творчестве... Он ушёл из “Нового мира” и его начали ругать там, а “Новый мир” тем же, по существу, и остался... т. е. задача у меня из труднейших, а отказаться от “проверки” нежелательно, так как выбирать мне не приходится – не хочешь, не надо. А пробиваться в журналы необходимо, тем более, что “Москва”, кажется, наиболее спокойный...”

Почему “задача из труднейших”? Потому, что в литературном мире все прекрасно помнили, что Лихоносова как писателя открыл Твардовский и неоднократно печатал в “Новом мире”. При этом тот же “Новый мир” бомбил “Молодую гвардию” – бывшего заместителя Твардовского Александра Дементьева трясло от одного доброго слова о так называемых “мужиковствующих писателях”... И новая критика Лихоносова в “послетвардовском” “Новом мире” (в статье Мариэтты Чудаковой) была выдержана в духе и стиле дементьевских поношений... Поистине, в этой ситуации оставалось выбирать “наиболее спокойный” журнал.

В этой же “наиболее спокойной” “Москве” и появилась статья “Мифы и истины”.

“В те годы он резко критически отозвался об одной книге, – вспоминал Александр Ольшанский, – в которой предпринималась попытка доказать, что автором “Слова о полку Игореве” был не древний русич, а кипчак. Юрия Ивановича очень беспокоили тенденции, отголоски которых нашли какое-то отражение в этом сочинении. Мы читали и другие произведения, и становилось всё более очевидным, что в Казахстане растёт, как на дрожжах, агрессивный национализм...” Об этом же писал и один из ближайших друзей Селезнёва Валерий Сергеев: “Когда появились у нас публикации, фальсифицирующие культурно-исторический контекст “Слова о полку Игореве”, Юрий Иванович опубликовал статью, как всегда, яркую, страстную, и при этом со столь точно и всеобъемлюще аргументированными возражениями, столь богато научно, академически оснащённую, что эта работа вызвала исключительно высокую оценку со стороны ведущих специалистов по литературе Древней Руси...”

Ни Ольшанский, ни Сергеев не назвали открытым текстом предмет критики Селезнёва. Сборник воспоминаний о Юрии Ивановиче появился в 1987 году, когда О. Сулейменова как “несправедливо гонимого в годы застоя” тронуть никто бы не позволил. А тогда, после подробного и уничтожающего разбора его сочинения на “круглых столах” и в “Вопросах истории”, и в “Вопросах языкознания”, “гонимый” писал секретарю ЦК КП Казахстана “Открытое письмо”, делая попутно совершенно поразительные признания: “Меня не поразила горячность, с которой большинство выступавших отвергли все до единого положения книги. Это было зеркальное отражение стиля, присущего многим страницам книги, где, не приведя особых доказательств (здесь и далее выделено мной. – С. К.), автор покушался на устои в с е й индоевропеистики, археологии и тюркологии...” Незадолго до выхода своей книги этот “осуждаемый кочевник” (по собственной характеристике) в докладе на пленуме Союза писателей Казахстана (читанного Селезнёвым) призывал “знать и оценивать историю с классовых, марксистских позиций” и с этих позиций в духе тогдашних идеологов обрушивался на “деревенскую прозу”, в которой “внесоциальные, абстрактно-гуманистические трактовки духовных ценностей деревенского мира оборачивались идеализацией патриархальщины”. На этом он не остановился, продвинувшись гораздо дальше: “Прошлое, проклятое прошлое гнездится в закоулках души, на сгибах карт. Оно доходит до новых поколений со

старыми песнями. Оно — в уцелевших царских, генеральских названиях городов и сёл. Оно пышным цветом распускается там, где пассивен учёный и невежествен критик...” Селезнёву было совершенно очевидно (что, увы, тогда не было очевидно нам, только вступающим в сознательную жизнь и без разбору тянувшимся ко всему “нетривиальному”): он имеет дело не с увлекшимся “тюркологическими штудиями” неопитом, не с обуреваемым завиральными идеями стихотворцем. Он имеет дело с врагом.

В открытую об этом сказать, понятное дело, тогда не представлялось возможным. Даже в завуалированном виде никто не позволил бы подобного по отношению к лауреату премии ЦК ВЛКСМ, премии Казахской ССР имени Абая, заместителю председателя Советского комитета по связям со странами Азии и Африки. Пришлось в разговоре о культуре и истории выйти на грань допустимого по тем временам — было не до разбора отдельных удачных наблюдений автора книги посреди совершенно бессмысленных “подтягиваний” текста “Слова о полку Игореве” к тюркоязычной стихии: “Открытия” О. Сулейменова доводят стереотипность определённого образа мышления до такой крайности, что его выводы, наконец, обнажают всю нелепость и беспомощность утилитарно-практического истолкования наследия древности... Разумеется, не мог Селезнёв пройти мимо рассуждений Сулейменова о “главном народе”, “избранном народе”, то есть о семитах-иудеях... “Пикантность” ситуации заключалась в том, что при всей официальной борьбе советской идеологии с “сионизмом” подобные откровенно расистские пассажи беспрепятственно печатались и воспринимались тогдашней “либеральной тусовкой” как очередная тактическая победа в противостоянии с “режимом”, а любая попытка обратить на них внимание тут же квалифицировалась как проявление “антисемитизма”.

“В очень сложной обстановке приходится работать, — писал Селезнёв Вадиму Неподобе. — Но, слава богу, опыт понемногу приобретается, и нередко удаётся заставить считаться со своим мнением и своих, и чужих, как это было со статьёй об Олжасе Сулейменове, когда на меня набросились обе стороны: одни — как на “погромщика”, другие — как на неосмотрительного человека, вызвавшего бурю, которая может потопить и наши корабли. Теперь, когда после моего выступления книга О. С. получила отпор и со стороны “академиков”, все если не признали в душе мою правоту, то вынуждены считаться...”

Но это были только первые схватки в открытом поле. Решающие кампании ещё предстояли.

* * *

В 1976 году по книге “Вечное движение” Селезнёв представил в приёмную комиссию Союза писателей рекомендации Льва Аннинского, Евгения Осетрова и Валентина Распутина. Пожалуй, в открытой печати при жизни Юрия Ивановича нигде не появлялось столь объёмных, восторженных и, по сути, точных характеристик его творческого мира, как в этих бумагах “для служебного пользования”. Аннинский, отнюдь не единомышленник Селезнёва, не жалел высоких слов:

“Анализируя главные явления современной прозы (статьи об Астафьеве, Быкове, Белове, Битове, Шукшине, Распутине), Ю. Селезнёв стремится связать и соотнести усилия теперешних писателей с традициями русской классики, понятыми не как склад неопровержимых достижений, а как завещанные проблемы. Не случайно поэтому являются у Селезнёва серьёзные работы о Достоевском и Пушкине (мысль о большом времени, имплицированном в “простых” пушкинских сюжетах). Твёрдость и жёсткость Селезнёва-критика вряд ли когда-нибудь позволят ему стать всеобщим любимцем. Я и сам далеко не всегда бываю с ним согласен. Не думаю, например, что в статье о книге О. Сулейменова “Аз и я” стоило в ответ на “тюркские амбиции” последнего фиксировать “славянские амбиции” — это малоперспективный метод решения подобных проблем (Аннинский, судя по всему, не слишком внимательно прочитал статью — не в этом была суть полемики Селезнёва с Сулейменовым. — С. К.) — но и в этой спорной статье Ю. Селезнёва привлекает полемическая сила, блеск письма и убеждённость, подкреплённая знанием русской истории...”

“Юрий Селезнёв с первых шагов заявил о себе, как о несомненном и неоспоримом духовном явлении, — писал Евгений Осетров. — Давно мы мечтали, чтобы критик совмещал в себе учёного-литературоведа с современным задорным полемистом...” Но особо ценной была характеристика Валентина Распутина, будущего героя селезнёвских статей: “В его статьях есть одно важное отличительное свойство — они внутрилитературны, т. е. как бы естественно вытекают из литературного процесса, а не стоят над ним со строгой и печальной выжидающей позой: вот, мол, пройдёт десять лет, тогда и посмотрим, кто прав, а кто нет, а пока растянем удобные сети теоретических изысканий. Ю. Селезнёв берётся говорить сразу, его статьи порой остры и полемичны, но они доказательны, в них молодость выступает рядом с опытом, эмоциональная напряжённость — рядом со строгой логикой. И что тоже немаловажно — они никогда не подчинены конъюнктуре лиц, а написаны по внутренней убеждённости...” На бюро творческого объединения критиков и литературоведов основной доклад делал Игорь Золотуский, и, думается, мало о ком он говорил в подобных выражениях: “Ю. Селезнёв явился в критику недавно, но явился, без сомнения, не как пришелец, а как законный участник... Селезнёв — критик и полемист социальный. Всякий раз, когда он пишет о литературе, он пишет и о жизни, в его оценках литературы присутствует равно как эстетическая, так и историческая и, пожалуй, государственная точка зрения... Уроки мастерства Достоевского... выглядят... не только как уроки профессиональные — и не столько как они, — а как уроки духовные. Ю. Селезнёв безошибочно чувствует связь между словом и смыслом, между формой и энергией внутреннего развития писателя, которые приводят к ломке и преобразению формы... Ю. Селезнёв видит сопричастность текущей литературы всей литературе, он не просто вписывает современные книги в исторический контекст, но и мыслит при их разборе широко, не ограничиваясь злобой дня. Это даёт его рассуждениям ощущение пространственности и временной глубины. Анализ не топчется на куцем клочке минуты — он протягивается и в прошлое, и в будущее... Иногда его полемика убедительна, иногда — нет. Но всегда за его страстными тирадами стоит иной взгляд, а не эгоистическое несогласие. И я с готовностью принимаю их именно как взгляд, как позицию, как линию жизни, если хотите, хотя, может быть, и не схожусь с тем, что говорит Ю. Селезнёв...”

В открытой печати Селезнёв даже не мог надеяться на хотя бы отдалённое подобие объективности от своих литературных оппонентов. Впрочем, едва ли он уповал на некое “признание”. Главным для него было — “слово, слово — великое дело!” (по выражению Ф. М. Достоевского). И в первую очередь, это относится к его деятельности на посту главного редактора популярнейшей серии “Жизнь замечательных людей”.

— Что голая информация? — говорил он Виктору Лихоносову. — Надо воздействовать на душу. Страшно подумать, сколько людей воспринимают личности Пушкина, Достоевского, Толстого через книги, затмевающие подлинное величие этих писателей... Дело же не в том, чтобы выпустить книгу о Жуковском или Аполлоне Григорьеве, какую — неважно. Нет, чтоб это была такая книга, которая оставила бы глубокий след в сердцах, стала частью чьей-то жизни...

Книги Михаила Лобанова, Сергея Семанова, Олега Михайлова, Игоря Золотуского, Валерия Сергеева, Юрия Лощица, выходявшие в то время в этой серии, читателя рвали из рук, сметали с прилавков книжных магазинов. Русская литература и искусство в своём подлинном значении, в своей адекватной интерпретации, очищенные от всех накопившихся за десятилетия вульгарно-социологических и “либерально-прогрессистских” напластований, вставляли с их страниц. Селезнёв и здесь, на ниве литературной политики в высоком смысле этого слова, был на высоте. Его незримое влияние как издателя и редактора на самого читающего человека той поры отрицать невозможно.

Естественно, он нажил себе массу врагов. И здесь неизбежно сомкнули ряды официальные представители апологии “социалистического реализма” с неофициальными, “подпольными” литераторами диссидентского толка.

Василий Кулешов, Юрий Суровцев, Александр Дементьев, Феликс Кузнецов горохом рассыпали в разные стороны словески “патриархальщина” и “внеисторичность”. С ними в унисон запел бывший редактор серии ЖЗЛ, позже сбежавший из Советского Союза, Семён Резник. Соцреалистических

“мастодонтов” здесь поистине невозможно отличить от “диссидентов” — одни и те же формулировки: “историческая правда подменяется мифами”, “проводятся идеи, направленные на подрыв нравственных ориентиров”, “всё передовое, прогрессивное, революционное в России XIX века предаётся... поруганию, а всё реакционное и лакейское превозносится”, книги “пропитаны дремучим национализмом... и замешаны на патологическом страхе перед прогрессом”, “группа... литераторов почти открыто взяла на вооружение идеологию национализма, шовинизма и антисемитизма”, а сам Селезнёв “бросается спасать... всю русскую культуру от посягательств каких-то интриганов и злодеев” и т. д. Книги, изданные в ЖЗЛ, “разносились” почти во всех литературных и идеологических изданиях — от “Коммуниста” до “Москвы” (печатавшей при этом Селезнёва), “Знамени” и “Вопросов литературы”.

“...Знаю, не всё даром, было, наверное, и что-то дельное, — писал Юрий Иванович Виктору Лихоносову, — не случайно же книжки жеззэловские сейчас до пены доводят кое-кого и расправы требуют, и немедленной, — значит, работают. А ведь в этих книгах и я есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же и задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не побоялся написать). Тратил время — не рабочее... Вечера и ночи, часто напролёт, опять рукописи, рукописи, письма — так что написать человеческое письмо другу физически порой невозможно... А ведь хотелось ещё и самому что-то написать, но больше писал не от того, что хотелось, а потому, что это было кому-то нужно: то ли судьба чьей-то книги решалась, а то и просто судьба, — знаешь, часто от одной несчастной рецензии, от одного упоминания имени судьба решается и так, и эдак... Никогда не ждал да и не имел никакой благодарности за это, кроме немногих добрых, порой просто обязательных в таких случаях слов, да и не ради них работаешь, не в словах дело: из неприятностей вылезти и не рассчитываю — при моей работе и при моём характере это невозможно, угроз давно не пугаюсь, обид тоже...”

Но это обращено лишь к самым близким друзьям (которых, как известно, наперечёт). На людях — лёгкость, жизнерадостность, абсолютная убежденность в своей правоте, непреклонность и доброжелательное участие. Таким, во всяком случае, Селезнёв запомнился мне, и я знаю, что здесь я не одинок.

“Мы работали с ним над моей книгой “Гоголь”, — вспоминал Игорь Золотусский... — Против издания книги были многие — начиная от редактора и кончая директором издательства. И если книга вышла, то это во многом заслуга Юрия Селезнёва. Ему грозило снятие с работы — не только из-за моей книги, но из-за той твёрдой позиции, которую он занимал, — но он стоял насмерть. Дело было не в его личных симпатиях к тому или иному автору (в данном случае ко мне), а в том, что он придерживался с автором одних и тех же взглядов. Он был человек идейный, человек убеждённый”.

— Нужно действовать... Ведь кто-то должен. Разве мы не у себя дома живём? Не в России?... Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести... — эти слова Селезнёва запомнил Николай Бурляев.

Он и действовал. И одним из решающих его шагов стало выступление на дискуссии “Классика и мы”, начавшееся с обращения к Достоевскому — самому современному, как он подчеркнул, писателю наших дней.

Прозвучавшие тогда его слова об идущей третьей мировой войне заставили окаменеть распалившийся, бьющийся в антикультурной истерии зал. Селезнёв не открывал “америки” — это был, по сути, его ответ идеям, уже всюю “обкатывавшимся” на страницах печати Западной Европы. Вот что, в частности, публиковалось на страницах западногерманского журнала “Верскунде” в середине 1960-х: “Психологическая война не знает границ между войной и миром. Она ведётся непрерывно как в военной, так и в гражданской областях... Современная война проходит не только в воздухе, на суше и на воде, но она охватывает и четвёртую сферу — духовный мир человека. Третья мировая война в этой сфере уже началась...” И кто скажет, что эти слова не имеют отношения к сегодняшнему дню?

Речь Юрия Ивановича не забылась и поныне, более того, она остаётся, как никогда, актуальной, ибо пророчество его оправдалось полностью. Сегодня, после очевидного крушения ценностной иерархии в культуре, разложения смыслов, отрыва художественного слова от реальной жизни, строки, написанные Селезнёвым более трёх десятилетий назад, снова наполняются жгучими токами современности:

“Необходимость учёбы у классиков, необходимость творческого восприятия уроков мастерства диктуется задачей не возвращения вспять, но потребностью нашего времени, потребностью возрождения высоких критериев художественности и духовности слова, литературы. Ибо и в наше время слово – великое дело. А великое дело требует и великого слова”.

“Мера нашей памяти о прошлом, мера нашего понимания цели и смысла, подвижничества великих предков – это мера уровня нашего сегодняшнего сознания, нашего собственного отношения к нравственным, духовным, культурным проблемам современности. Это и мера нашего долга перед будущим, основы которого закладываются сегодня”.

Тогда, в 1970-е годы подобные заключения были своего рода “моветон” в становящемся всё более “амбивалентным” литературном мире. И уже после дискуссии “Классика и мы”, когда “дело” Юрия Селезнёва рассматривалось на приёмной комиссии, разгорелась настоящая схватка. Вадим Кожин не скупился на высокие слова: “Лишь в последние годы начал складываться новый (а на самом деле – возрождающий лучшие традиции классики) тип критика, который обладает исторической широтой взгляда, позволяющей мыслить не в ограниченных рамках сегодняшней литературной ситуации, но познавать настоящее как шаг на пути из прошлого в будущее. Юрий Селезнёв принадлежит именно к этому типу критика. В поле его критического мышления – вся тысячелетняя история отечественной литературы... и вершины мирового искусства слова. Ясно, что такой подход к делу создаёт особенные, подчас немалые трудности, ибо необходимо суметь точно соотносить творчество наших современников с классикой, не принижая сегодняшние искания и в то же время не выдавая им заранее патент на бессмертие. На мой взгляд, Юрий Селезнёв в целом успешно решает те нелегкие задачи, которые он отваживается перед собой ставить...”

Тут же выскочил Валентин Оскоцкий – будущий пламенный обвинитель русских писателей в “фашизме”. Он заявил, что “... и в своей любви, и в своей нелюбви Ю. Селезнёв, к сожалению, очень избирателен и иногда досадно ограничен. Вот, скажем, в многообразии современной литературы он выделяет так называемую “деревенскую прозу”, называя её “традиционной школой”. У меня не было бы возражения против этого термина, если бы за ним не прочитывалось стремление автора единственно “деревенской прозе” отдать монополию на традиции русской литературы, на верность заветам национальной классики (типичная демагогия ортодоксального марксиста, быстренько позднее сменившего строгий “коммунистический” костюм на либеральное одеяние. – С. К.)... Главным методом автора... становится сталкивание лбами разных писателей... Для Селезнёва нет более пренебрежительных слов, чем “научно-техническая революция”, “технизация”, “рационалистичность”... Кто, спрашивается, дал Ю. Селезнёву право оставлять за Виктором Лихоносовым и самим собой монополию на патриотические чувства и отказывать в патриотизме оппоненту?... Ю. Селезнёв, к сожалению, ещё не дорос до соблюдения элементарных этических норм работы критика... Ю. Селезнёв... в рецензии на книгу (“Аз и Я”. – С. К.) с серьёзного спора срывается на оскорбительные для писательского достоинства обличения, цитируя в назидание Олжасу Сулейменову “Майн кампф” Гитлера... Необходимые нравственно-этические нормы литературно-критической работы Юрию Селезнёву пока что неведомы...”

Весь арсенал приёмов, которые потом выльются в открытую печать, был здесь блистательно продемонстрирован. Слава Богу, в комиссии сидели серьёзные, вменяемые, опытные литераторы, которые не поддались на эту истерику. Страстно и жёстко выступил Олег Михайлов: “... Критика удобно подделывается под партийные нормы. Какая была полемика в XIX веке между критиками! И вот появляется живой человек, и тут же появляется бритва, которой эта голова должна быть срезана. Я не понимаю, о чём идёт речь?... Я буду считать величайшим позором для нас, если мы не примем в Союз Ю. Селезнёва...” Его поддержал один наиболее авторитетных филологов страны Сергей Макашин: “Я был на последнем заседании конференции по Достоевскому и могу сказать, что выступление Селезнёва очень хвалили. У него есть великолепная статья о Достоевском, если вы не читали, почитайте обязательно, это доставит вам истинное наслаждение: он так глубоко проникает в ткань повествования Достоевского. А то, о чём вы говорите, это, конечно, полемическое заострение, и это нужно отнести к достоинствам критика, а не к недостаткам...”

“Быть судьёй и не только судьёй, а палачом нашего товарища, – возмущался поэт Виктор Гончаров, – который успешно работает... Нехорошо! Я за приём”. Точку в этом обсуждении поставил Дмитрий Урнов:

“Книга Сулейменова стала предметом академического разбора. К чему свёлся этот разбор? Все говорили о несерьёзности этой книги. Серьёзные люди, серьёзные историки вынуждены были заняться несерьёзной книгой, потому что автор этой книги несерьёзно касается серьёзных вопросов. Вот чем было вызвано заседание высокоавторитетного органа по поводу этой книги. Ваше вступление, Валентин Дмитриевич (Оскоцкий. – С. К.), было полемическим выступлением против позиции Ю. Селезнёва. Но это именно полемическое выступление, имеющее свои основания и права. Я лично во многом с вами согласен, я тоже расхожусь в оценке многих вещей, в частности, “Прощание с Матёрой” не считаю лучшим произведением Распутина, но он так пишет, что мы зажигаемся его идеями”.

Селезнёв, действительно, умел “зажигать”. И идеями, и стилем, и самим взглядом на предмет разговора. “Делом своей совести” он считал (и справедливо) книгу о Достоевском в серии “Жизнь замечательных людей”, ставшую лучшей биографией классика.

* * *

Ранее в книге “В мире Достоевского” он сделал всё, чтобы снять с Достоевского напластования “достоевщины”. Но главное всё же в другом. Достоевский Селезнёва – личность соборная, всем своим творчеством, всей своей сутью отрицающий некое “право” отдельной личности вершить чужие судьбы. И мир его, утверждал Селезнёв, не полифоничен (бахтинская концепция полифонизма мгновенно вошла в широкую моду), но соборен. “В полифоническом мире вообще невозможно художественно поставить в центр слово народа – осуществить ту идею и ту задачу, которую, по нашему убеждению, смог осуществить Достоевский и которую он мог и сумел воплотить уже не на уровне полифонизма, но на уровне соборности. Здесь слово народа, даже и безмолвствующего народа, даже и вовсе не явленного сюжетно, может проявить себя не только наряду с другими, но и внутри каждого из равноправных участников диалогических взаимосвязей и через них...” “Преклонение перед правдой христианской”, “народную правду, правду совести” выделял он как основополагающую черту романов Достоевского.

Сплошь и рядом в многочисленных книгах, посвящённых Достоевскому (от Шкловского и Кирпотина до Юрия Карякина), утверждалось противостояние Достоевского-художника Достоевскому-религиозному проповеднику. От этой фальшивой схемы Селезнёв не оставил камня на камне, обосновав величие Достоевского как писателя, чей художественный и проповеднический дар существуют в нерасторжимом гармоническом единстве. В ответ со страниц “Вопросов литературы” раздался истерический вопль Бориса Бялика: “Не хочу я такой гармонии. Из любви к Достоевскому не хочу!” Самораздевание ещё одного ортодокса произошло буквально у всех на глазах. Но ведь то же самое, по сути, повторил один из авторитетнейших исследователей биографии и творчества Достоевского Г. М. Фридендер (благодаря ему полное академическое собрание классика, остановленное на несколько лет, было продолжено, и без всяких цензурных сокращений вышел в нём “Дневник писателя”, что представлялось тогда практически невозможным): “Вопреки мнению Достоевского. именно религиозная этика ведёт не к возвышению, а к принижению человека. Доказывая, что человеку нужна религиозная узда, Достоевский, по существу, снимает с него ответственность за самого себя”. После этих сентенций Фридендер счёл необходимым особо напомнить Селезнёву слова из письма Ленина к Горькому: “Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства... ничуть не больше, чем жёлтый чёрт отличается от чёрта синего”, полностью игнорируя исторический и смысловой контекст этого высказывания.

Именно опираясь на Достоевского, прочитанного им в контексте всей тысячелетней русской литературы, Селезнёв сделал непреложные выводы, которые воспринимаются, как будто сформулированные в наши дни: “Возрождение и потребительство – два резко противоположных отношения к культуре.

Задача истинной критики – воспитывать в обществе сознание Возрождения и бороться с психологией потребительства. Задача – мироотношенческая, идеологическая. Ответственнойшая”. Он всю свою сознательную жизнь был непримиримым и бескомпромиссным противником потребительства и животного себялюбивого индивидуализма – всего того, что возобладало в России в последние годы и утверждалось в том числе и с высоких государственных трибун. “Личность начинается не с самоутверждения, – утверждал Юрий Иванович, – но с самоотдачи, с самоограничения, с самопожертвования ради другого. Но в том-то и “диалектика”: через такого рода отречения, через отказ от индивидуалистического эгоцентрического “я” человек из индивидуума перерождается в личность”. “Не мир удивить, не себя показать, но мысль разрешить”, – формулировал он сверхзадачу героев Достоевского.

Безусловно лучший отзыв на книгу Селезнёва принадлежит Михаилу Лобанову. Свою статью “Найти в человеке человека” Михаил Петрович завершил словами, которые сейчас перечитываются с особым вниманием и чувством:

“... Книга Ю. Селезнёва при всей своей исследовательской оснащённости – более чем литературоведение. И она – факт более чем литературный. Дело в том, что каждый великий художник живёт не только своим наследием как таковым, но и теми живыми силами, которые воспринимают его, готовы воспринимать его как явление современное, им необходимое... Это главное в судьбе творца (поэтому, вероятно, и нет для него более сокровенного желания, чем видеть свой народ всегда и вечно духовно дееспособным)... Вопрос и в том, какие силы “поднимают” Достоевского – здоровые или декадентские, народные или индивидуалистические, созидательные или разрушительные – всего этого, как в самой жизни, довольно у Достоевского, творчество которого и есть полнота жизни, где человек волен делать свободно свой нравственный выбор... Подход того или иного критика к Достоевскому характеризует не столько Достоевского... сколько самого критика, уровень его мыслительных данных, духовно-нравственного развития... нельзя же духовному убожеству обнять внутреннее богатство великих творений, так же как мало одной сноровки наклеивать социологические ярлыки, чтобы считать себя выше Достоевского по передовому прогрессу и присваивать себе право учить отсталого писателя... Книгу Ю. Селезнёва о Достоевском тоже можно считать продуктом времени. Написанная с горячим увлечением и убеждением, она не просто обращена к Достоевскому и поучительна не только пониманием созидательного значения его творчества. Эта книга свидетельствует, сколько здоровых сил в современном литературно-критическом и – шире – общественном сознании, как рвутся наружу эти силы и жаждут истины. И это отраднo, ибо классики... живут этим откликом, этими здоровыми силами общественной жизни”*.

* * *

В самом деле, разговор о Юрии Селезнёве невозможно замкнуть лишь в рамках собственно литературной критики или собственно истории литературы. Этот разговор неизбежно касается всей русской жизни, выраженной в слове, разговор, который подразумевает полемику не столько даже с откровенными противниками или врагами, но и с кругом друзей и единомышленников.

* Михаил Петрович Лобанов оказался прав во всех отношениях. Не только здоровые силы “рвались наружу”. Одним из признаков грядущего развала и распада в годы так называемой “перестройки” стало фактическое уничтожение “Театра юного зрителя”, когда пришедшая туда в качестве главного режиссёра Генриэтта Яновская утвердила на сцене спектакль своего мужа Камы Гинкаса “Записки из подполья” (якобы по Достоевскому). Спектакль, насыщенный “натуральными” сценами, сексуальными ужимками и прыжками, ничем не замаскированными оскорблениями зрительного зала, воплощавший эстетику вселенского безобразия и человеческого свинства, был таков, что родители отказывались водить на него детей. В это же время газета “Правда” (центральная партийная газета, если кто не помнит) воспевала это творение режиссёрской похотливости как “величайшую бережность и любовь к оригиналу” и декларировала “новые пути развития, которые соответствовали бы действительно изменяющемуся времени”. Из величайшего русского писателя (более, чем писателя!) конструировали орудие разрушения психики и морали русского человека. Грядущие потоки крови предвидеть было не трудно.

Так, одну из глав книги “Глазами народа” он посвятил тонкой, тактичной, мягкой и в тоже время очень обстоятельной полемике со своим другом и учителем Вадимом Кожинным, и касался он вопроса об эпохе ренессанса в русской классической литературе. Юрий Иванович чётко разграничил понятия “ренессанса” и “возрождения”. “Ренессанс” в России он отнес к XVIII веку, а “русское возрождение”, отталкивающееся от Ренессанса в его западноевропейском понимании и во многим противостоящее ему, — к началу XIX века, в первую очередь, к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Отсюда и выросла его главная мысль — литература глазами народа, — которая потом органично и естественно переходила в следующую: литература, рожденная собственно народом. И опять же эта проблема рассматривалась им в общем контексте всей истории русского художественного, публицистического, религиозного слова, начиная с первых рукописных памятников.

“Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”, — часто повторял Селезнёв эти слова Дмитрия Карамазова, переночевав наблюдая, как дьявол “брал своё” в сердцах тех, кто, по идее, мыслился им как единомышленник. Перейдя из издательства “Молодая гвардия” на должность первого заместителя главного редактора в журнал “Наш современник”, он рассчитывал сделать из него боевое русское издание, которое во многом могло переломить ситуацию в преддверии грозных времён, наступление которых он ощущал с чуткостью сейсмографа. Он всерьёз рассчитывал возглавить журнал в будущем — и потому вёл себя, как *право имеющий*. Он стал, по сути, единственным составителем знаменитого 11-го номера журнала за 1981 год, объединив в нём повесть Владимира Крупина “Сороковой день” (с предельно резкими выпадами против отечественного телевидения); статью Анатолия Ланщикова “Достоевский и Чернышевский” (обосновывавшую как взаимоотталкивание, так и взаимопритяжение двух писателей, что выглядело тогда, как явная “идеологическая невыдержанность”); разгромную рецензию находящегося на грани исключения из КПСС и под надзором КГБ Сергея Семанова на роман Марка Еленина “Семь смертных грехов” — “История и сплетня” (с явной симпатией к великим деятелям отечественной культуры, эмигрировавшим после революции)... И главное — статья Вадима Кожиннова “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, написанную к юбилею Ф. М. Достоевского.

Он воспринял эту статью как полемику со своей собственной, незадолго до того опубликованной работой “Чтобы старые рассказывали, а молодые помнили”, с той её частью, что касалась монгольского ига и Куликовской битвы. Воспринял как продолжение спора, о котором позже писал Кожиннов: “... Спор — то есть острый, напряжённый диалог — был главной формой нашего общения с Юрием Селезнёвым с первой и до последней встречи”. И, несогласный со многими положениями этой статьи, Селезнёв без тени сомнения отправил её в печать, рассчитывая в дальнейшем на серьёзную дискуссию.

Но вместо дискуссии последовали статьи исключительно погромного характера, после которых состоялось заседание Секретариата правления Союза писателей РСФСР. Сергей Викулов выставил Селезнёва как редактора, обманувшего его доверие, взяв на себя всю полноту ответственности. Феликс Кузнецов не сдерживал никаких эмоций: “Убей меня Бог, но я никак не могу понять, как можно было подписать этот номер к печати, — не могу! Для этого нужно быть или колоссальным глупцом, или сумасшедшим... Почему Фёдоров, Флоренский за счёт Чернышевского, Лермонтова, Добролюбова, за счёт декабризма? Почему люди, стоящие на этой позиции, претендуют на то, что они патриоты, а те, кто не стоит на этой позиции, — это, что же, антипатриоты? Это, в конечном счёте, приводит к очень тяжёлым последствиям. Это приводит к тому, что мы разоружаем себя идеологически и теоретически”. Тон был задан, и единственный, кто выбыл из него на этом заседании, был Пётр Проскурин.

Селезнёв умно и доказательно защищал свою позицию, проигнорировав, пожалуй, самые главные слова на этом собрании: “Вопрос в том, что антирусские течения, русофобство стали одной из главных форм антисоветской пропаганды... Советский характер сегодня — это не нечто рождённое. В основе его лежит то, что мы называем русским характером. А сейчас на Западе начали говорить, что в основе русского характера лежат шовинизм, терроризм и т. д.... Не во всем с Кожинным... можно согласиться, но основная его мысль, — что сама природа русского национального характера состоит не в замыкании на самом себе, а в стремлении к братству со всеми людьми,

в интернационализме, — говорит не о превосходстве одной нации над другой, а говорит, что сила русского характера не в том, что он признаёт превосходство над другими, а в том, что готов признать в чём-то превосходство других народов над собой.

... При всей дискуссионности этой статьи, при многих положениях, с которыми нужно спорить, ничего страшного в этом нет. Мы публикуем вещи, с которыми нужно спорить... Я не вижу, что эти публикации как-то серьёзно подорвали в сознании сегодняшнего читателя утвердившийся авторитет “Нашего современника”...”

Совершенно иначе думали как секретари СП, так и работники журнала, даже через много лет не скрывавшие своей ненависти к Селезнёву. Это же кажется и так называемых “единомышленников”.

Как же характерны записи в дневнике Сергея Семанова, одного из “героев” той давней истории! “Споры вокруг Гумилёва и статьи Кожинова вызвали чудовищный раздрызг среди “наших”. Чивилихин полчаса задыхался, что Кожинов защищает Гумилёва, что статья русофобская, как можно ссылаться на уничтожения Пришвина и сомнительного Бахтина, почему мы хуже всех и нам отказывают в национальной гордости и т. д. Естественно, что А. Кузьмин тоже осуждает Кожинова. Оба они ещё обижаются на немарксистские обстоятельства... Палиевский: статья Кожинова написана для скандала, об этом он и мечтал, но это плохо для дела: тема, которую он затронул, будет надолго закрыта, неверно, что только у русских есть всемирность; статья написана для самоутверждения, чтобы ходить, выпятив грудь вперёд, Селезнёва он обманул, Селезнёв невежествен... Великие нестроения начались вокруг “Нашего”. У них на летучке уже произошёл раскол, Устинов выступил против, Васильев вроде бы тоже. Чивилихин пышет злобой... меня ругал: как можно сочувствовать Деникину... Предполагается, что накажут Юру (Селезнёва)... Обиднее всего, что бьют нас руками наших же. Бондарев недоволен Кожиновым (тот о нём никогда не упоминал). Чивилихин кричит: Гумилёв, Бородай, Кожинов и Селезнёв — одна линия!.. 7 декабря был Секретариат России... Решение не принято, но Викулову велено убрать Юру. В редакции раскол, Устинов, Васильев и почти все прочие ругали Крупина и Кожинова. Юра, конечно, задумал и провёл операцию твёрдо и точно... оттеснил слабого Викулова, выдал неслыханно скандальный номер и получил немислимую славу героя и мученика. Как всякий себялюбец и славолубец, он наплевал на окружающих: журнал погубил, своих покровителей подвёл, вызвал раскол и смуту. А всё же — это всё правильно! Эти поганые кулаки, питомцы совпартшкол, тупицы и духовные расстриги, эти кулаки, запросто покупаемые Сионом, нам не друзья и не союзники. Своей тупостью, бескультурьем и хамством они были только гирей у нас на шее, тянули нас на илистое дно... Все эти Ивановы, Чивилихины, Софроновы, Исаевы и прочие “русские”, прежде всего, бездарны, поэтому могут существовать только на пониженном уровне культуры, малообразованны и негибки, отсюда маловосприимчивы и нетерпимы, они корыстны и безбожны, а раз так — легко покупаются. Что и случилось... Юру будут выгонять. Но в любом случае он выиграл”.

Здесь замечательно всё: и обстановка в самом “Нашем современнике” в годы пребывания там Селезнёва, и мнение, что “статья Кожинова написана для скандала” (Кожинов скандала не исключал, но сверхзадача его была совершенно иная!), и что он “обманул” Селезнёва... И слова самого Семанова, что Селезнёв — “себялюбец и славолубец”, который и “журнал погубил”, и “своих покровителей подвёл”... Искреннего убеждения, действия ради истины — эти люди — русские люди! — не понимали и понимать не желали. И не понимали главного: Селезнёв не “играл” — он выходил в бой с открытым забралом.

Его рассуждения о “партии народа” в те годы, когда с официальных трибун звучали только слова о партии как об “авангарде пролетариата”, его принципиальный отказ видеть в Достоевском и Лермонтове “злых гениев” и обоснование этого отказа, утверждение, что главное в их творчестве “конфликт” западного сознания и стихии русской народности, — всё это вызывало приступы бешенства как у врагов, так и у “сотоварищей” — мелких завистников или бюрократов “по нужде”...

Описывая в книге “Достоевский” взаимоотношения своего героя с Николаем Страховым, Селезнёв волей-неволей проецировал цитируемые воспоминания современников на происшедшее с ним самим.

“Одна из участниц вечеров у Елены Андреевны Штакеншнейдер записывает в дневнике свои впечатления:

— Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно-возбуждённое, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: “Какие они единомышленники? Те любили то, что есть и было, он распинается за то, что придёт или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждёт, так жаждет этого, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть...”

Селезнёв не сдавался. В оставшееся ему время он пытался продолжить разговор, начатый статьёй “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”. В № 4 за 1982 год в “Нашем современнике” появилась заранее подготовленная им статья Аполлона Кузьмина “Писатель и история” — разгром псевдолитературоведческого фолианта В. Оскоцкого, полемика с Кожинным — и — размышления о современной русофобии. Это была последняя капля. В письме, адресованном в ЦК КПСС за подписью заведомо пропаганды ЦК Е. Тяжельникова и заведомо культуры ЦК В. Шауро, сообщалось, что “за допущенные ошибки в работе первый заместитель главного редактора журнала “Наш современник” т. Селезнёв Ю. И. освобождён от занимаемой должности”.

Но по сути он был отстранён от должности ещё раньше.

4 февраля 1982 года отстранён писал Александру Федорченко:

“... У меня дела пока неважные — всё по-прежнему: без службы и без работы. Вообще не вижу пока для себя никаких возможностей выступить как критику — некуда даже писать — всё перекрыто... Времена нелёгкие, в очень трудном положении Лобанов и др. Несладко сейчас и в ЖЗЛ. Юра Лощиц ушёл — жить на “свободных хлебах” рискованно, но и служить клерком — не слаще.

Был я на партсобрании в “Нашем современнике” — ужаснулся, едят друг друга со сладострастием. Нужна мне была характеристика для загранпоездки (я ещё у них на партучёте) — Викулов отказал, сославшись на то, что мое имя нежелательно для работников ЦК и проч.

Я не отчаиваюсь, есть, слава Богу, небольшой, но надёжный круг близких друзей, с которыми выжусь и которым сейчас не слаще моего...”

Через 10 лет после кончины Селезнёва Юрий Лощиц воспроизвёл в стихотворении, ему посвящённом, их некогда случившийся диалог:

*“Нас будут выбивать по одному, —
сказал мне друг, сутулясь и мрачняя, —
вразброс, не всех подряд, а потому
не всполошится, не поймёт Расея”.*

*“Ты прав — к несчастью.
Я же — к счастью, — прав, —
и глянул я в глаза его родные. —
По одному уйдём мы, не узнав,
На ком из нас опомнится Россия...”*

* * *

В последние годы жизни Селезнёв работал над книгами “Глазами народа” и “Василий Белов”, книгами, в основе которых лежат взаимопроникающие смыслы.

В первой книге критик охарактеризовал так называемую “деревенскую прозу” как новую литературу, в которой в полной мере реализовался идеал классиков XIX века — “возрождение в народности”. Он говорил о писателях, которым было суждено “подняться непосредственно из народа до вершин мировой и отечественной культуры”, о литературе, которая “осознала народ главным, решающим деятелем и творцом истории”...

“Может быть, мы серьёзнее смотрели бы на себя и своё будущее, если бы лучше знали и ценили... нравственные силы, потрудившиеся для нас в прошедшем...” Опора на эти силы придавала сил и энергии ему самому. И он спешил как подвести итог прежним размышлениям, так и протянуть свою мысль к будущим свершениям.

“Стоит задуматься... о трагичности отрыва “ветров века” от традиционных общечеловеческих ценностей... Всё это, может быть, выглядит слишком сентиментально для рационального сознания, но, говоря словами Достоевского, “было бы смешно, если бы не грозило будущим”...”, — писал он в книге “Василий Белов”.

Давно это было... Но уже тогда, в начале 1980-х годов, на нашей памяти, Селезнёв, опираясь на творчество Белова, говорил о вещах сугубо современных, о тенденциях, набиравших силу и временно восторжествовавших в России. Он писал о сверхзадаче книги “Лад”: “... Не реставрация традиционных форм жизни и культуры прошлого, но именно — возрождение тех оснований человеческого бытия, вне которых это бытие не может существовать ни как человеческое, ни как вообще — бытие”.

Селезнёв дал неожиданную сейчас для многих, но абсолютно точную характеристику времени, на которое пришёлся расцвет творчества Белова и которое наши не слишком умные современники, называвшие и называющие себя демократами, окрестили “эпохой застоя”. “Я убеждён, — писал он, — что это была поистине целая литературная эпоха... — эпоха просветления в общественном сознании истинных идейно-художественных ценностей. Она расставила всё на свои места, прояснив, что есть что и кто есть кто”. Воистину так! “Шестидесятые”, столь любезные нашим “либералам”, знаменовали собой разброд и шатание, уничтожение ценностной иерархии во многом и, в частности, в литературе. Достаточно вспомнить реакцию нашей “передовой общественности” на вручение Шолохову Нобелевской премии, зазирающие творчество Леонида Леонова, пренебрежение, а то и откровенную агрессию (разумеется, со ссылками на марксизм-ленинизм!) по отношению к великому фантасту Ивану Ефремову, зубодробительные атаки как ортодоксов, так и либералов на публицистику журнала “Молодая гвардия”, вспомнившую об отечественном наследии. Именно тогда и возникли эти уничижительные определения: “тихая лирика”, “деревенская проза”... Селезнёв со всей очевидностью показал, что числить художественный мир Белова по ведомству “деревенской прозы” всё равно, что называть Шолохова “казачьим писателем”. Более того, он обнажил бесплодность всех попыток “измерить беловского героя “аглицкими” мерками — поверить, насколько он соответствует прогрессивным ветрам века, дующим, по мысли некоторых критиков, главным образом, из Европы”. При этом он вписал Белова-художника в круг мировых литературных величин XX века, величин, которые критик совершенно справедливо отнёс к “почвенническому” направлению: Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Скотт Момадея, Джона Гарднера, Габриэля Гарсиа Маркеса... Кстати, Евтушенко однажды сильно удивился, услышав, что один из любимых писателей Белова — Фолкнер. Это удивление жестоко высмеял Вадим Кожин, объяснив читателю абсолютную естественность подобного притяжения.

... Незадолго до смерти Юрий Селезнёв был полон литературных планов. Уставший, порядком измотанный жизненными невзгодами, он ни на мгновение на людях не терял присутствия духа (я тому непосредственный свидетель), более того, иронически, насмешливо реагировал на периодически появляющиеся доносные статьи в свой адрес. Он готовился писать в серии “Жизнь замечательных людей” биографию Лермонтова, принёс в издательство “Современник” заявку на книгу “У вещего дуба” — о народных преданиях и мифологических сюжетах. Бился за издание книги “Глазами народа”.

Летом 1984 года он отправился в Германию к их общему с Кожинным другу, немецкому слависту Эберхарду Дикману. В его доме в Берлине у Селезнёва и остановилось сердце.

Вот как о прощании с ним вспоминал прозаик Евгений Чернов:

“... В Центральном доме литераторов прощались с Юрием Селезнёвым.

Писателей было маловато. Художников — больше. Но ещё больше было юношей в одинаковых тёмных костюмах, с широкими плечами и девичьими талиями. И ещё некто крупный, с правительственной наградой на груди, с вековой меланхолией в глазах, стоял чуть поодаль и внимательно и напряжённо всматривался в приходивших, как бы ведя учёт.

С фотографии, очерченной чёрным прямоугольником, живо, чуточку насмешливо, смотрели прекрасные Юрины глаза. Смотрели, не мигая. Сильный, красивый, высокий во всех отношениях человек — Юрий Селезнёв. Кто

знал его, болезненно недоумевали: как же так – в такой мощной груди могло разорваться сердце?

Была пора, когда каждый мечтал дружить с ним, как металлические крошки устремлялись к магниту. А он всё ближе подбирался к пониманию тайного механизма, о котором говорить никому не было позволено. Дух тревоги витал, сгущаясь над магнитом. И первыми это почувствовали друзья. И отшатнулись. И получилась удивительная вещь: у всех были какие-то свои оч-чень значительные дела, а у него, Юрия Селезнёва, как бы и не было ничего...

А потом выносили тело. Зашумели моторы автобусов. Кто мог ехать на кладбище, занял места.

И тут на плечо опустилась рука, расслабленная и тяжёлая.

Анатолий Передреев.

Повернув голову, он молча, приспустив веки, смотрел, как медленно, словно наощупь, удалялись машины...

– Вот и всё, – наконец, сказал он. – Делай правильные выводы: не высовывайся...

А через несколько лет и его не стало, высокого, красивого, хранителя русского слова...

Последний приют Юрий Селезнёв нашёл на московском Кунцевском кладбище.

* * *

В одном из разговоров Юрий Иванович “изливал”, как пишет Виктор Лихосов, “свои восторги перед древнерусской литературой”.

– Сколько там неоткрытых, неведомых даже нашим литераторам удивительных образов, мыслей. Господи, как подумаешь, что ничтожная идея европейской легенды о Фаусте стала под пером Гёте всемирным творением – оторопь берёт. Куда эта легенда хотя бы в сравнении с нашим “Путешествием Иоанна на бесе в Ерусалим”? Здесь же бездны духа, бытийные проблемы добра и зла и в таких внешне простых образах. И идея, какая широта, простор во всём: поступок, всякое движение ума и души проходят у нас перед лицом всего мира...

Незадолго до конца, выступая на воскреснике по реставрации часовни Рождества Богородицы, он говорил, что “война за Россию никогда не прекращалась и сейчас обострилась”. И в этой войне он обращался за помощью к великим предкам, к уникальной энергетике древнерусских книг, оставляя нам своё завещание на грядущие дни, завещание, не дающее возможности впасть в уныние: “Реакционный, в точном смысле слова, идеал единства русской земли, упорно отстаиваемый русской литературой, действительно находился в полном противоречии с объективным ходом истории. Но это был и не благодушный идеал только прошлого, эта идея несла в себе значимость не столько прошедшего, сколько будущего. Поэтому оценка русской литературы периода раздробленности являлась не столько похоронной песней прошлому, сколько приговором будущего настоящему. Русская литература её древнего периода уже умела смотреть на современность и судить её глазами будущего. Идеал прошедшего единства давал лишь убеждённость, небеспочвенность веры в единство грядущей Руси. Прошлое становилось образом возможности и неизбежности возрождения Руси, достойной его идеала”.

Хорошо бы нам всем почаще перечитывать Юрия Ивановича, ибо слишком велик был соблазн последних десятилетий погрузиться в состояние чёрного неподвижного пессимизма. Мне думается, что всей своей жизнью – короткой и яркой – он являл пример для каждого из нас. Кто-то ведь и сейчас может сказать – был такой великий и благодушный идеалист. Нет, не идеалистом он был, а реалистом. Реалистом будущего.

Весь строй его сочинений был живым отвержением подхода к литературному произведению с формальными отмычками, столь модному ныне. “Астафьевский рассказ стал, по сути, первой публицистически-открытой экспликацией рессинтементных эмоций...” – вот так теперь принято писать в псевдонаучном сообществе. Селезнёв издевался над подобными писаниями ещё в 1970-х годах: “...На свет божий появляются “научные” откровения, вроде следующего: “В девятой строфе автор обращается к Богу с дезидератами...”

В очередной научной статье речь идёт о стихах Ап. Григорьева, который, ей-же-ей, не только к Богу, но и к чёрту ни с какими “дезидератами” не обращался, а предпочитал говорить о “желаниях”, “страстях”, “вопросах”... Но сказать по-русски исследователю (а не поэту) представляется слишком уж примитивно, ненаучно”.

И этого ему не могут простить до сих пор. Ему не могли простить при жизни и не прощают ныне возвеличивания русского слова, русского образа, самого русского мира в творчестве классиков и современников, отношения к слову, как к великому делу, глубинного и деятельного патриотизма, не стесняющегося самого себя. Ему не могли и не могут простить блестящего анализа троцкизма в разговоре о беловских “Канунах”, троцкизма не как политического течения, но как умонастроения и образа действий – справедливость селезнёвской оценки была подтверждена самой жизнью на рубеже 80–90-х годов прошлого века.

Ему не могут простить его пророческих слов о третьей мировой войне в области духа: сейчас, по сути, мы слышим то же самое с самых высоких трибун, но при этом никто не вспоминает о Селезнёве. Его, мечтавшего об издании многотомного собрания памятников мирового эпоса, и поныне записывают то в “русские националисты” (выходят даже псевдонаучные труды на подобную тему), то объявляют его мысли “параноидальными”, в частности, в учебном пособии по истории русской критики XX века, выпущенном журналом “Новое литературное обозрение”.

А это значит, что его слово живёт, работает, борется. И его книги написаны не только для своего времени. Они – и для наших дней. И для грядущих.